

Г Е Л И О Д О Р

Э Ф И О П И К А



ВСТУПИТЕЛЬНАЯ
СТАТЬЯ
РЕДАКЦИЯ
ПЕРЕВОДА
И
ПРИМЕЧАНИЯ
А. ЕГУНОВА



А С А Д Е М І А
МОСКВА ЛЕНИНГРАД
1932

ΗΔΙΟΔΩΡΟΥ
ΑΙΘΙΟΠΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΑ
Δ Ε Κ Α

*Орнаментация книги
Д. И. Митрохина*

**ГРЕЧЕСКИЙ РОМАН
И ГЕЛИОДОР**



1. Читатель, с юной непосредственностью перелистывающий роман Гелиодора как сказку или приключенческую повесть, порою, вероятно, будет склонен улыбнуться, приметив, правда, в чуждом облике нечто ему давно уже знакомое (и, следовательно, наивное). Гелиодор имеет за собой по меньшей мере полторы тысячи лет, в течение которых его элементы были усвоены европейской литературой и в измененном виде стали общеизвестны. Любители литературных памятников в праве ожидать, что им будут приведены те контексты, в которых встречался роман Гелиодора за время долгого своего существования. И это тем более, что греческая литература II—V веков н. э. не входит в обычный читательский кругозор. Этой потребностью и определяется несколько хрестоматийный характер введения (большинство прозаических греческих в нем текстов — впервые на русском языке).

2. «Никогда в Аттике не испытывала такой стужи; ветры дули не с одной какой-нибудь стороны, но неслись отовсюду в беспорядке, поражая нас грохотом. Падал густой и частый снег, покрыв всю землю. Он лежал не только на поверхности, но и в вышине поднялась страшная снежная вьюга, так что, открыв дверь дома, нельзя было различить знакомого переулочка. А у меня не было ни дров, ни углей. Как тут быть? Холод пронизывал до самого мозга костей. И вот я замыслил Одиссееву уловку — побежал в баню, в комнаты для потения, поближе к печам, но не пустили меня туда обретающиеся там сотоварищи по несчастью: их пригнала очень схожая богиня — нужда. Едва я заметил, что войти туда мне не удастся, как побежал в баню Фрасилла, помещавшуюся в частном доме, и нашел ее пустой. Кинув два обола и этим расположив в себе банщика, я мог греться там все время, пока на дворе

был лед и снег и пока соединялись друг с другом камни застывшей между ними влагой. Когда же кипенье пронзительной стужи прекратилось, ласковое солнце беспечно показало мне свободный путь для прогулок». «Суровая зима в этом году, и никому нельзя выйти из дому. Все покрыто снегом, и белеют не только холмы, но и впадины земли. Работать нельзя, сидеть же в праздности — постыдно. Висунувшись из хижины, я едва-едва приоткрыл оконце — вдруг вижу несущуюся вместе со снегом целую стаю птиц — черных и серых дроздов. Сейчас же достаю я из лохани птичьего клея и намазываю им ветви дикой груши. Недолго пришлось ждать: налетело облако пернатых, и все птицы повисли на ветвях — приятное зрелище — приклеившись крыльями, головой или ножками. Часть их, жирных и тучных, послал я тебе — двадцать пять штук. Ведь у добрых все добро общее. Пускай завидуют дурные соседи» (Письма Алкифрона (около 200 года н. э.) I, 23, III, 30).

3. Появление мелкой литературной формы — письма, не преследующего практических задач, не выводящего именитых мужей древности, но посвященного бытовым мелочам, означает изменение сознания и автора и читателя. Снег выпадал в Аттике и в классическую эпоху (климат не мог существенно перемениться), но тогда литературное сознание не допускало его, по крайней мере в его бытовой окраске. Был снег на горах, на Олимпе; был Сократ, философски ступающий босыми ногами по льду; бывала зимняя стужа, но ее разгоняли вином у теплого очага. Много этапов должно было быть пройдено, прежде чем появилось любованье мелкими явлениями быта, свидетельствующее об интимности и общем миниатюризме психики.

4. Когда-то «предпосылкою греческого искусства служила греческая мифология, т. е. природа и общественные формы, уже получившие бессознательную художественную окраску в народной фантазии... Разве был бы возможен тот взгляд на природу и на общественные отношения, который лежит в основе греческой фантазии, а потому и греческого искусства, при наличии сельфакторов, железных дорог, локомотивов и электрического телеграфа? Разве нашлось бы место Вулкану рядом с Roberts et Co, Юпитеру рядом с громоотводом и Гермесу рядом с Crédit Mobilier?» (К. Маркс).

5. Гомер и классическое искусство V века до н. э. заслоняют для неспециалистов всю остальную греческую литературу, которая между тем распространяется еще на целое тысячелетие (скажем, от V века до н. э. по V век н. э.). Греческий роман, при всей шаткости попыток его датировать, относится к I—V векам н. э., следовательно, он отделен от классической эпохи промежуток от 500 до 1000 лет. Тенденция многих исследователей помещать в каждое столетие приблизительно по одному роману может вызвать удивление. Естественнее сгруппировать греческие романы на более узком отрезке времени, основываясь на аналогии расцвета того или иного литературного жанра (например, трагедии) как в греческой, так и вообще в европейских литературах. Национально-языковая линия связывает греческий роман с предшествовавшим искусством, но линия социально-общественная и литературно-психологическая делают его явлением своеобразным. Существенно, чтобы читатель не воспринял греческий роман в виде греческого искусства «вообще», но почувствовал бы его психологическую отдаленность от классического времени. Язык даже современного нам греческого народа еще не до такой степени отстоит от языка Гомера, насколько резко несовместно сознание, проникающее гомеровские поэмы, с тем, что составляет содержание жизни нынешних греков. Так и греческие романисты, пользуясь языковыми клише и кусками классических литературных форм, сконструировали из них нечто совсем иное, что может быть прослежено на примере восприятия природы, времени, пространства и человека в греческом романе.

6. «Небольшое имение из четырех полей, подаренных мне в Вифинии моей бабкой,— писал император Юлиан (331—363 г.) ритору Евагрию,— я даю в дар твоему благорасположению; оно слишком мало, чтобы доставить владельцу избыток или славу богатого человека — все же этот подарок не совсем лишен прелести, если рассказать тебе о нем все подробности. К тому же ничто не мешает непринужденно поболтать с тобою, раз ты преисполнен харит и имеешь вкус к музам. От моря отстоит это имение не более чем на 20 стадий, однако ни купец, ни моряк, болтливые и нахальные, не обременяют его собою, а между тем оно не вовсе лишено благосклонности Нерей: есть там рыба, всегда

недавнего улова, еще трепещущая, и, немного отойдя от дома, с какого-то холма ты увидишь море — Пропонтиду — острова и город, носящий имя благородного дая; тебе не придется идти по водорослям и мхам, тебя не затруднят морские отбросы, выбрасываемые на прибрежный песок, очень неприятные и недостойные даже названия — нет, ты будешь окружен тисом, чебрецом и благовонной травой. Великий там покой кругом для человека, прилежшего и склоненного над книгой; а чтобы отдохнуло зрение — сладчайший вид на корабли и море. В моей ранней юности это местечко было для меня самым милым летним приютом. Есть там и источники прекрасные, купанье отрадное, сад и деревья. Теперь, уже зрелым мужем, я томлюсь по этому давнишнему образу жизни, часто посещаю эти края, и эти встречи всегда отражаются в моих сочинениях. Есть там и скромный памятник моих земледельческих занятий: маленький виноградник, дающий благовонное и сладкое вино, не требующее, чтобы время прибавило ему что-либо от Дионисия или Харит: виноградная гроздь, даже еще висящая на лозе или выжимаемая на точиле, отдает розами, в боченках же — чистый нектар, если верить Гомеру. Что же так мал этот виноградник? Почему не простирается он на многие и многие плефры? Или я не был ревностным земледельцем? Нет, но трезв мой Дионисов кратер и в сильной мере требует Нимф (воды); поэтому я припасал вина лишь сколько нужно было мне и моим друзьям — потребности же таких людей не велики. Теперь, дорогой друг, даю тебе этот дар, хоть и не большой, но отрадный для друга дружеский дар — из дома в дом, по словам вещего поэта Пиндара. Это письмо я пишу наспех, при свечильнике. Поэтому, если в чем погрешил, не суди строго, не так, как ритор ритор. Ахемениды считали владельцем, а ныне Мениска, но и его я сменю, в новые руки попав, ибо некогда тот обладать мною мнил, ныне этот мнит, но я, поле, ничье, кроме единой судьбы».

7. В этом же роде, хотя и по деловому поводу, философ Евстафий писал императору Юлиану так: «Как помогло мне хотя бы и запоздавшее разрешение на право проезда! Вместо того, чтобы дрожать от страха, несясь в почтовой повозке и встречаясь с хмельными погонщиками мулов и лошаков, раскормлен-

ных ячменем, по выражению Гомера, ленивых, наевшихся доотвала; вместо пыли, гнусных криков и шелканья бичей, мне дана возможность путешествовать со вкусом, по дороге, осененной деревьями и тенистой, где много источников, много пристанищ, годных для отдыха усталому, — там нахожу я убежище, освежаемое легким дуновением, под развесистыми платанами или кипарисами, с «Федром Мирринусийским» в руках или с каким-нибудь другим сочинением Платона. Наслаждаясь свободой такого путешествия, я считал бы странным, божественный и священный друг мой, не сообщить тебе моих впечатлений».

8. Приведенные в §§ 6 и 7 тексты представляют собой действительно бытующие письма, несмотря на всю их олитературенность. От переписки таких эрудитов, щеголяющих друг перед другом и возвышенностью своих душ, и антикварным своим уклоном, недалеко было до создания письма как самодовлеющего литературного жанра, порою бесфабульного (см. письма, приведенные в § 2. Алкифрон любил рисовать быт и чувства поселян, рыбаков, нахлебников, гулящих девиц и прочего мелкого люда, но отнюдь не с оттенком социальной к ним жалости, а с подчеркиванием своей изощренности, позволяющей автору любоваться такими «непозитическими» незначительностями). Литературное письмо после включения эротического момента подводит нас уже к области новеллы. Примером может служить Аристэнет (около 500 г. н. э.):

9. Филоплатан—Анфокому (Яворолуб—Цветовласу) «С моей Леймоной мы приятно провели время в любовном саду, вполне подходящем к красоте моей возлюбленной: там явор развесистый и тенистый, умеренное дуновение ветерка и мягкая трава, обычно цветущая летней порою. Мы легли на землю, там, где она убрана самыми драгоценными коврами. Поблизости много плодовых деревьев — груши, гранаты и яблоки, плодоносящие чудно — можно было бы сказать на гомеровский лад, воспевая это святилище осенних нимф. Все это было там, да и другие деревья вблизи, с цветущими молодыми побегами, с обильными плодами, что делало благовоннейшим весь этот приятный уголок. Я сорвал лист с одного из деревьев, размягчил его пальцами, затем поднес к своим ноздрям и стал вдыхать сладчайший, несравненный аромат. Очень длин-

ные и высокие виноградные лозы обвивались вокруг кипарисов, так что мы, откинув как можно более назад голову, смотрели на гроздья, качающиеся вокруг: одни уже стали наливаться соком, другие чуть начали принимать черно-голубую окраску; некоторые еще не созрели, иные, повидимому, только цветут. Чтобы достать зрелые гроздья, я полз по земле; Леймона же, приподнявшись на достаточную высоту, с силой ухватилась левой рукой за край ветки, влезла на дерево и там стала правой рукой собирать виноград, с дерева протягивая руку престарелому земледельцу. Под явором течет приятнейший ручей, с очень студеною водою — в этом легко убедиться, погрузив туда ногу. Ручей так прозрачен, что когда мы стали плавать и в ясной воде любовно сплетаться друг с другом, каждый член нашего тела был явственно различим. Впрочем, признаться, я порою испытывал тогда некий обман чувств из-за сходства ее персей с яблоками. В воде между нами плавало яблоко, я схватил его рукою, думая, что это вздымающаяся, словно квитовое яблоко, грудь моей желанной. Да, этот ручей прекрасен, клянусь садовыми нимфами, и сам по себе, но он кажется еще блистательнее, когда украшен благовонными листьями и телом моей Леймоны — она необычайно хороша лицом, но, скинув платье, настолько выигрывает в своей, дотоле скрытой красоте, что, одетую, ее можно счесть прямо безобразной. Да, прекрасен этот ручей. Благоприятное дыхание зефира смягчает тяжкий летний зной, звучит тонко и усыпляюще, веет благовониями деревьев, отвечая притираниям моей сладчайшей. Смешивались оба аромата и чуть ли не равноденно радовали мои чувства. Пожалуй, однако победили притирания, но только потому, что это были притирания моей Леймоны. Кроме того, дуновение ветерка звонко оглашалось мусикийским хором дикад, делавшим более нежным удушье полудня. Приятно пели и соловьи, летая вокруг источника; мы слушали пенье и остальных сладкогласных птиц, словно разговаривающих с людьми на своем стройном наречии. Мне кажется, я до сих пор вижу их перед своими глазами: одна отдыхает на камне, стоя на одной ножке, другая прохлаждает крылья, третья чистится; эта тащит из воды какую-то добычу, та выкарабкалась на сушу, чтобы там закусить чем-нибудь. Мы беседуем о них, понизив голос, чтобы птицы не